



**М. С. БЕЗОБРАЗОВА**

## **Воспоминания о брате Владимире Соловьеве**

«В присутствии вашего брата Владимира Сергеевича сам становился лучше; при нем слишком стыдно было думать или чувствовать гадко». Таковые приблизительно слова слыхала я не раз от знавших брата, и мне при этом вспоминалось одно из чувств, которые я испытывала относительно его всегда, с тех пор что себя помню.

В детской. Упоение игрой. Вдруг одно слово, одно движение, взгляд, и вспыхнули темные страсти — крик, спор, сцепились. Звонок в передней, это — брат; идет к себе и будет там работать, писать, может, всю ночь; писать такие умные, чудесные вещи. Вдруг, проходя, заглянет к нам? Войдет, высокий, бледный, худой и такой красивый, с головой, которая, говорят, напоминает голову Иоанна Крестителя! И некрасивое слово не произносится, и руки, поднятые для некрасивого жеста, опускаются, и стыдно, и обидно, и так хочется сказать или сделать что-нибудь умное и красивое!

И еще в детской: игра в сравнения — кто лучше, кого больше любишь?

— Ну, по-твоему, кто? Володя или?.. (Называется лицо, к которому мы равнодушны и о котором знаем, что тоже «пишет целые книги»).

— Ну вот еще, глупости! Тут и сравнивать нельзя: тот — земля, а Володя — небо.

Бессознательное чутье совсем маленького ребенка отгадывало в нем служителя неба, той красоты, Афродиты Небесной, которой он оставался верен всю свою жизнь. И хоть с течением времени я скоро увидела, как много в нем было и земли, от суждения, высказанного в раннем детстве, не откажусь. Так впоследствии, когда приходилось наблюдать более темные, более тяжелые сто-

роны в характере и натуре брата, все же всегда чувствовалось, что этот человек, безусловно, не способен ни на что низкое или неблагородное и что над ним не имела никакой силы сколько-нибудь мелкая, недостойная или пошлая сторона жизни. Да, в этом отношении он был всегда над землей, выше ее и мог казаться небом. А ведь и небо бывает порой такое неприятное, хмурое и зловеще-грозное, а то и еще хуже: серое-серое, скучное. Брат бывал мрачен и тоскливо-угрюм, бывал и скучен, когда, например, отправится к каким-нибудь добрым знакомым, сядет куда-нибудь в сторонке да и просидит несколько часов, не разжав губ, а затем встанет и уйдет. Хозяева дома, может, и не взыскали бы за такое действительно неприличное поведение, на то они и добрые знакомые и, зная Соловьева, могут понять, что он, тоскуя и мятаясь душой, как это случается со всяким человеком, нарочно пошел к людям, к своим добрым знакомым в надежде, что, быть может, разгонит хоть немного мрак и тоску; но были гости в доме, и между ними такие, которые нарочно пришли послушать Соловьева, и вот эти-то подобного поведения ему не простят. Простой человек имеет право, когда в тоске и неохота говорить, промолчать хоть весь вечер, а Соловьев нет. На простого человека внимания не обратят, а тут нарочно пришли — это непозволительно.

— Не хотел раскрывать рта, ну и сидел бы в своей комнате; оригинальничает, думает — интересно, а это просто скучно.

Но оригинальничать брату было, безусловно, невозможно; слишком по природе был он для того оригинален и искренен; а потянуло его в тяжелую минуту к людям — значит, он счел их добрее, чем они оказались. Впрочем, брат очень редко позволял себе, бывая скучным, ходить в гости, хотя бы и к *добрым* знакомым.

А во мне и в детстве, и позднее тяжелое, мрачное настроение брата вызывало всегда страх и тоскливую, недоумевающую тревогу. И не того я боялась, что нечаянно раздражу его, вызову чем-нибудь гнев, — случалось, когда была еще маленькой, брат быстро шагает после обеда, засунув руки в карманы, весь в своих невеселых думах, а в комнатах темно, из передней и столовой падает свет, но он освещает только часть большой залы и гостиной, по углам же и вдоль стен совсем чернота, особенно когда в окна не глядит луна; и так заманчиво-жутко нам, младшему поколению, носиться на цыпочках в этой темноте, играя в привидения или летучих мышей; меня же охватывало прямо неистовство; ну вот, случалось, несясь таким образом, столкнуться с братом, попасть ему под ноги, да и не один еще раз, и он мог

сильно рассердиться, крикнуть резкое слово; но, повторяю, не раздражение его, не крик пугали меня — пугала его мрачная тоска сама по себе, пугала и смущала жалость, охватывавшая при этом к нему. «Такой умный, такой необыкновенный, которым так восхищаются, пишет книги, которые могут читать только самые умные люди, отчего он так тоскует? Чем так смущен?» И хотелось порой броситься к нему и приласкаться, но не решалась; я, такая маленькая и глупая, даже и читать не могу никаких книг, которые он пишет, как смогу помочь ему? Только еще хуже сделаешь: помешаешь ему думать, а он, наверно, думает все время о страшно важном, о самом важном, а мне вот хоть и жаль его, а все же очень хочется визжать и носиться летучей мышью. Раза два, впрочем, помню, не удержалась, побежала к нему, когда больше никого не было в комнате, и изо всей силы прижалась одной половиной лица к его локтю. Он остановился.

— Что ты?

— Володя, милый! — могла я только прошептать.

Он вынул из кармана руку, не ту, к которой я прижалась, и согнутым по суставу указательным пальцем несколько раз провел по моей свободной щеке. И опять зашагал. А другой раз суставом пальца по щеке моей не провел, а сказал только:

— Ну чего ты, глупая, чего?

И проведение согнутым пальцем по щеке, и прилагательное — глупая, произнесенное особым тоном, означали ласку.

Раздражителен брат бывал иногда и без мрачного или тоскливого настроения, и тогда некоторые вещи легко могли довести его до бешенства. Так, например, он совершенно не выносил, чтобы убирали его комнату, то есть его письменный стол, равно чтоб касались подоконников, шкапов, всего, куда он только мог положить книгу, газету, бумагу, записку, так как при уборке все куда-то исчезало, он искал и не находил. Мать же и сестра полагали, что оставлять везде пыль — не значит убирать комнату, а в неубранной комнате нельзя жить. И вот иногда в отсутствие брата они сами принимались за капитальную уборку, не доверяя прислуге или боясь, что та действительно что-нибудь не туда положит. Вернувшись, брат часто и не замечал произведенной в его комнате очистки, но случалось и другое: вдруг по дому раздавался крик, от которого, казалось, вот-вот должны рухнуть стены, и брат с перевернутым лицом вбегал в комнату матери.

— Мама, да что же это такое! Я не могу найти нужной мне записки, это вы опять перевернули мне все вверх дном.

— Я ничего даже и не трогала, только стерла пыль.

— Но я же вас просил, я вас умолял никогда у меня ничего на касаться.

— Да я и не касалась.

— Как же не касалась, когда вдруг исчезла нужная мне записка! Понимаете, она мне сейчас необходима, сию минуту.

— Я пойду и найду, потому что ни одного обрывка старой газеты даже не выбросила.

— Вы ничего не найдете — я все переискал. Нет, что же это такое!

И опять крик, и порой слова, несообразно резкие слова, и угроза уехать, чтоб никогда уже больше не вернуться. Если бы кто из мало знавших брата вошел в эту минуту и услышал этот крик, отчаянным, захлебывающимся звуком произносимые угрозы и жалобы, подумал бы, что случилось большое, непоправимое несчастье.

Слыша эту сцену из соседней «детской», я чувствовала, что этот большой человек, обладавший такой огромной духовной силой, что при нем, а иногда и только думая о нем, всегда невыносимо было сказать, или услышать, или увидеть что-либо сколько-нибудь некрасивое, глупое, пошлое, становился минутами совсем маленьким, беспомощным ребенком; и чем громче и неистовее он кричал, тем сильнее это чувствовалось.

Злополучная записка иногда скоро находилась, иногда нет — возможно, что брат сам не помнил, куда ее положил, но находилась или нет, припадок неистовства разрешался так: продолжая кричать, брат бежал опять к себе, изо всей мочи хлопнув дверью своей комнаты. Там на более или менее продолжительное время наступала полная тишина. Потом дверь тихо отворялась, показывалась фигура брата; несколько мгновений он точно колебался, будто прислушиваясь; затем, так же тихо притворив за собой дверь, обычной быстрой и размашистой походкой, но на цыпочках, шел к матери и, войдя, плотно притворял за собой дверь. Брат являлся с повинной и, целуя у матери руки, просил прощения за свою несдержанность. Если потом за обедом или чаем хоть каким-нибудь намеком вспоминалась пережитая сцена, брат, слегка смущаясь и в то же время страшно горячим и убедительным тоном говорил:

— И ведь никогда ничего подобного не могло бы случиться, если б вы раз и навсегда оставили мою комнату в покое; и вам и мне было бы лучше.

Мать утверждала обратное. Тогда на лице брата появлялось лукаво-ироническое выражение, и он говорил все тем же горячим убеждающим тоном:

— Положим, я глуп, положим, я очень глуп, до чрезвычайности глуп, но не так же я глуп, чтоб не знать, что мне удобнее и спокойнее.

Эту фразу брат любил повторять каждый раз, как ему казалось, что его хотят убедить, что он чувствует, например, не то, что чувствует.

С течением времени припадки дикого бешенства из-за недостаточно уважительной причины становились все реже и реже: брат усиленно над собой работал.

С ранней юности, помимо всякой другой, брат взвалил себе на плечи и работу личного самоусовершенствования и эту работу, как ни тяжела она была порой, исполнял всю жизнь, как добрый и верный раб, вплоть до самой смерти, когда он, уже умирая, говорил: «Трудна работа Господня» — или просил княгиню Трубецкую: «Не давайте мне впадать в бессознательность и бредить — я должен молиться».

Мрачное же и тоскующее настроение, равно и раздражительное, хоть и находило на него порой в течение всей жизни, в общем характер его вспоминается мне удивительно мягким и светлым, и очень много было в нем детского, способность же смеяться и дурачиться — совершенно исключительная, так что иногда достаточно было пустяка, чтоб заставить его закатиться самым задушевным, захлебывающимся смехом, разносившимся на далекое пространство кругом. И думается, вспоминая этот смех, что надо было быть или очень несчастным, или беспросветно злым, или безнадежно озлобленным, чтоб не стало весело и не явилось желания смеяться самому, услышав этот смех. Любил он острить и поощрял чужие остроты; когда сострит кто удачно, он сначала рассмеется, потом скажет: «Запиши две копейки», или пять, или десять, смотря по степени остроумия. Когда же «ничего не выходило» или чересчур «нахально», брат в первом случае морщился, иногда тихо, точно про себя, произнося: «Вздор»; во втором смеялся и говорил: «Дать ему (или ей) подзатыльник». Любил брат очень Кузьму Пруткова и, обладая колоссальной памятью, цитировал его иногда за обедом и чаем без конца. Говорил и свои стихотворения, серьезные и шуточные, и стихи Фета, иногда раньше, чем они появлялись в печати. Стихи брат читал, по-моему, удивительно хорошо, необыкновенно музыкально и при этом совершенно просто; шуточные же произносил с совершенно особым комизмом. Иногда находила исключительно дурашливая полоса, и, начав с Кузьмы Пруткова и разных других шуточных стихов, каламбуров и *bons mots*<sup>1</sup>, брат, что называется, закусывал удила. Мы, младшее поколение,

равно и старшая сестра, сама очень остроумная, прямо кисли от смеха, но мать и жившая с нами и всех нас воспитавшая Анна Кузьминична Колерова, близкий друг всей нашей семьи, иногда бывали строго настроены и не очень склонны поощрять дурачества, уже переходящие известные границы (подобные сцены вспоминаются мне из более позднего времени, уже после смерти нашего отца).

— Ну, Владимир, теперь уж пошел, пошел... Право, это несколько не остроумно, — говорила как будто слегка даже грустным тоном Анна Кузьминична.

Но брат не унимался, и мы едва сдерживались, чтоб уж прямо не взвыть от восторга.

— Отчего говорят «чернильница», а не «песочница»?.. Вам это не нравится. Ну, хорошо... мама, смотрите, вот я возьму самый большой огурец и разом его — в рот.

И действительно, как говорил, так и делал. Мать ужасалась, брат, закинув голову, хохотал, Анна Кузьминична негодовала.

— Ну, успокойтесь, я больше не буду, — говорил брат ласково и увещательно.

Несколько минут молчания, потом вдруг самым повышенным и удивленным тоном вопрос:

— Отчего говорят «роза», а не «пэон»?

И выражение лица при этом такое же невинно-удивленное и, как и тот вопрос о произношении слова «пэон» и ударение на первом слоге, полно беспредельного комизма.

Хотя я и сказала выше, что всю жизнь, начиная с раннего детства, боялась произнести при брате, или чтоб их кто другой произнес при нем, сколько-нибудь некрасивое, глупое или пошлое слово, но сам брат любил иногда говорить большие непристойности, если они были остроумны или смешны; любил, чтоб и ему рассказывали подобные анекдоты или подлинные факты. Не только позволял он это себе в обществе мужчин, а также иногда и в нашем.

— Владимир, помилосердствуй, — при сестрах! — восклицала с негодованием Анна Кузьминична.

— Да, Володя, пожалуйста, оставь; терпеть не могу, когда начинаешь говорить сальности, — негромко замечала мать и тихонько отталкивала от себя предметы, бывшие у нее под руками, — верный знак нарушенного душевного равновесия.

Сощурившись, брат смотрел на меня и младшую сестру (со старшей, с которой вместе рос, он стеснялся меньше, чем с матерью).

— Мария, тебе есть шестнадцать лет?

— Есть.

— Ну, значит, все можешь знать, ибо достигла церковного совершеннолетия и получила право стать женой, а Сена — ей несколько преждевременно, а потому, *Séne, sortez!*<sup>2</sup>

— Но мы тоже не хотим слушать, — громче заявляла мать.

— Ну, это вздор, совершенный вздор: поймите — мерзко делать гадости, думать, чувствовать, а говорить — бывает даже иногда нужно — *Séne, filez!*<sup>3</sup>

И по выходе сестры брат начинал говорить совершенно откровенно. Иногда это кончалось благополучно, иногда скандалом. Анна Кузьминична, возмущенная до последней степени, вставала и уходила; а в самых редких случаях уходила и мать, а чаще обиженно и огорченно говорила:

— Совершенно не понимаю, как это такой человек, как ты, можешь подобные вещи слушать да еще сам повторять.

— Ах, мама, вы еще меня мало знаете.

— Ну, да-да, рассказывай; и охота представляться!

И на такие слова, и на уход Анны Кузьминичны брат отвечал самым задушевным, радостным смехом.

Раз, помню, брат вышел к завтраку рассеянно-печальный и, как всегда, принялся за «Русские ведомости», прихлебывая стынущий в стакане чай. Читая, хмурился, на предложенный какой-то неважный вопрос не ответил. Прочел, отложил газету и, подойдя к окну, стал молча глядеть на небо. На небе было солнце. Вдруг брат чихнул едва слышно, точно сдерживаясь, как-то в себя; звук походил менее на чих, чем на кашель или перханье грудного младенца. Чихнул так раз, и другой, и третий, затем очень громко и довольно крякнул, вернулся к столу и попросил еще чаю. Лицо не было больше хмурым, напротив, совсем светлое, с бесконечно добрым, детски ясным взглядом.

— Доволен, что удалось чихнуть? — спросила старшая сестра.

Брат улыбнулся и молча кивнул головой. Он очень любил чихать, хотя иначе как вышеописанным образом чихать не умел, так что, кто не знал, думал, что он терпеть не может и нарочно удерживается; а чтоб вызвать чиханье, говорил, что нет лучшего способа, как посмотреть на солнце, только не надо, чтобы в это время кто-нибудь с ним заговорил, — это мешает. Мы это знали и, если замечали его в такой немой позиции перед окном, старались даже не глядеть на его спину.

— О Господи!.. — сказал вдруг брат, отхлебнув чаю и откинув со лба волосы. — Мама, если б вы знали, как я много нагрешил сегодня ночью.

Мать испуганно закашляла и посмотрела на младшую сестру.

— Не пугайтесь так уж чрезмерно; я погрешил в сердце своем.

— Ах, Володя! И как будто я не знаю, что иначе ты не можешь.

— Ну нет, это вы напрасно. Ну-ну, бедный мамант, не волнуйтесь. Но я ведь вам не раз уж говорил, что всякая мало-мальски нечистая мысль и есть уже грех, а если б вы знали, сколько мне приходило сегодня ночью самых нечистых мыслей! Ужас! Есть у вас еще чай? Так налейте. О Господи!

Помню, не один раз брат с сокрушенным громким вздохом, и комичным, и совершенно искренним, в котором было опять-таки что-то детское, признавался матери, что много нагрешил в сердце своем. А я любила эти признания: чувствовалось, что этот человек, неустанно служивший Афродите Небесной, не был чужд земных соблазнов, и порой они находили на него, как тяжелые зловещие тучи, и давили, и гнули, и бороться ему с ними было нелегко, и тем не менее он вел непрестанную борьбу со всякой нечистой мыслью. И думалось о том, как он часто увлекается женской красотой, а лежит у него в то же время портрет женщины удивительной красоты, с надписью «Ah, bel ermite! tu ne les sauras donc jamais, les tentations de st. Antoine!»<sup>4</sup>

Нет, он их знал; но любовь была для него священной. Влюблялся же и увлекался брат легко, и легко понимал эти чувства в других и интересовался ими, с вниманием выслушивал рассказы о всяких любовных историях. Но чуть тут что-нибудь возмущало его чувство красоты, он морщился и говорил:

— Ф-фа, какая мерзость!

Если же узнавал, что одна сторона страдает от другой и наблюдается несоответствие света и тени, говорил:

— Ну, связался черт с младенцем.

Любя всякие дурачества, брат любил давать смешные прозвища и меня по возвращении из Египта, где он пробыл довольно долго, редко называл по имени, а больше египетским чудищем, так как находил, что у меня совершенно египетский тип. Иногда просто обращаясь: «Ну что, египетское?» или: «Ты что еще там ухмыляешься, чудище, фараоново отродье?» В серьезные минуты называл меня сфинксом, а если по имени, то почти всегда прибавляя — «египетская». Анну Кузьминичну называл Анной Пророчицей, потому что она хорошо объясняла ему сны, в которые он верил, как верил во многие приметы, в карты и т. д. По линиям рук предсказывал нам нашу судьбу, равно как по

формам тела и чертам лица объяснял иногда свойства характера и натуры человека.

Брат никогда не ездил ни в театр, ни в концерт, и большинство думало, что он равнодушен к музыке и драматическому искусству, но мне кажется, что и тут сказывалась одна из странностей, которых было так много в натуре брата, а не равнодушие. Он часто просил меня петь, называя вещи, которые были его «любимые», и сам за послеобеденным чаем, играя с Анной Кузьминичной в шашки или шагая по комнатам в редкие минуты отдыха, постоянно мурлыкал что-нибудь; правда, совершенно неверно, потому что не имел слуха.

— То есть слух у меня есть, но внутренний, понимаешь, египетское? Я отлично слышу мотив и внутри пою его верно, а голосом не выходит.

Особенно любил он один мотив из «Травиаты» и за шашками подолгу упражнялся, чтоб поймать его; и вот вдруг раз ему показалось, что поймал, и действительно, вышло почти верно; держа один палец левой руки на шашке, он поднял правую и, глядя на меня ликующими детскими глазами, радостно прошептал:

— А что? Поймал-таки, — и пропел еще раз, громче, но, увы, опять не вышло.

— Нет, не так, что же это? — сказал он разочарованно и смущенно и низко наклонил голову над шахматной доской.

Раз мне случилось брать урок пенья вечером, и брат был дома. Когда, пропев немного экзерсис, я занялась разучиванием арии из «Русалки», дверь из комнаты брата тихо отворилась, и он на цыпочках прошагал через залу в гостиную и до конца урока назад не уходил; а потом, когда урок кончился и я убрала ноты, брат вышел из гостиной и направился ко мне.

— Я помешала тебе работать, — сказала я в сильном смущении.

— Вздор! А я действительно не мог писать, когда ты начала петь это из «Русалки»; слушал в гостиной и даже взволновался несколько. Пой, фараоново отродье, пой. — И, проведя согнутым указательным пальцем у меня по щеке, повернулся и пошел к себе.

Когда приехала в Москву Сара Бернар<sup>5</sup>, старшей сестре удалось уговорить брата один раз поехать ее посмотреть.

— Ну помни, Надежда, только для тебя еду, а случится что недоброе, уж это — на твоей совести.

Недоброе ничего не случилось, но на другой день, как только заходила речь об этом спектакле, брат закидывал назад голову и говорил:

— О господи, что это было за страдание! О Господи!

И когда он сказал так в первый раз, мы подумали, что страдание было смотреть на муки героини пьесы в искусной передаче Сары Бернар.

— И вдруг ты, Владимир, повадишься теперь в театры! — сказала Анна Кузьминична.

— Боже меня упаси!

— Но сознайся, что она произвела на тебя сильное впечатление.

— Отнюдь. Впечатление у меня осталось сильное, это верно, но от страдания, которое я претерпел, высидев целый вечер в таком неподходящем месте (как место в театре оно было превосходное: кресло в одном из первых рядов партера) и глядя на ломанье этой госпожи. О Господи!

Между тем, когда я, тоже видевшая Сару Бернар, потом искусно ей подражала, брат очень этим утешался и у нас на *jours fix'ax*<sup>6</sup> просил меня изобразить Сару Бернар. Я произносила монологи из «Адриенны Лекуврер» и «Фру-Фру»<sup>7</sup>, и брат хохотал неистово и уверял, что вот это несравненно интересней, чем смотреть саму Сару Бернар. А в театре он с тех пор ни разу не был, и раньше я не помню, чтоб подобное когда случалось с ним; но помню, еще когда я была подростком, несколько членов бывшего тогда в Москве кружка шекспиристов<sup>8</sup> — Лопатины, Венгштерн, Гиацинтовы и др., — в числе которых были и друзья, написали одну за другой две оперы-пьесы; одна называлась «Прекрасная Элеонора, или Сон студента после 12 января», другая — «Тезей». Обе вещи были шуточные и представляли нечто совершенно необычайное. Авторы распределили роли, причем и женские для большего удобства и свободы должны были исполняться мужчинами же, разучили пьесы и стали их разыгрывать у разных знакомых. Играли и в нашем доме, причем перед поднятием занавеса актеры говорили, что до того трусят играть такое перед Сергеем Михайловичем (мой отец), что просят поднести им для бодрости. Суда отца моего они напрасно боялись: он вполне оценил их произведение, и его залиvistый смех часто сливался со смехом брата. Вообще, далеко не вся публика в состоянии была вкушать соль этих удивительных творений; некоторые, и даже из тех, что были близки авторам, с недоумением пожимали плечами и, выражаясь мягко, говорили, что это Бог знает что такое. А брат был в восторге и хохотал от начала и до конца пьесы не переставая. Смех его был до того заразителен, что многие, ничего не понимавшие из того, что происходило на сцене, смеялись только из-за брата. Тогда авторы и актеры ре-

шили, что ни у кого ни за что не станут играть, если брат не будет в публике.

— Володя, голубчик, поддержи: завтра мы ломаем «Тезея» у Г.

— Завтра! Завтра мне, собственно говоря, надо бы дома... поработать.

— Владимир Сергеевич, ведь нам тогда просто смерть.

— Ну хорошо, буду, буду завтра.

И после того ни одно представление без него не обходилось. Какая бы у него ни была важная работа или другое какое личное дело, брат оставлял его и ехал выручать товарищей. Когда случалось опоздать, актеры без него начинать отказывались. Ездил он выручать и в такие дома, где до того ни разу не был, а так как иногда нелегко было его затащить к новым знакомым и, случалось, иные подолгу искали случая познакомиться с ним, то явилась возможность использования этой готовности брата выручать и с другой стороны: один человек, желая быть приятным другому, говорил:

— Приезжайте к нам в четверг: шекспиристы будут эту... галиматью свою ломать...

— Ну, это мне неинтересно...

— Пойдите — Владимир Соловьев тоже будет.

— Играть?

— Нет, в публике, для ободрения актеров: ему нравится и все время смеется, знаете, этим своим смехом.

Декораций для «галиматьи» не полагалось никаких, а перед поднятием занавеса в слегка раздвинутые половины просовывалась голова младшего Лопатина, обладавшего бездонным комизмом, и он произносил, например, следующее:

Знаю, знаю, что вы спросить хотите,

И не жду вашего вопроса:

Действие — на Крите

У царя Миноса.

В «Тезее», между прочим, действовал старец Тимофей, от старости начавший уже впадать в детство и поэтому поступавший иногда совершенно ни с чем не сообразно; так, например, он вдруг появляется на собрании в Афинах решительно без всякого одеяния (устроено это было очень искусно и вполне пристойно); потом, со стыдом прогнанный, является во фраке, чтобы показать, что он умеет быть и передовым человеком. Один из афинян, объяснявший что-то важное гражданам, махнув на него рукой, замечает:

Он близок к сумасшествию —  
Ему уже лет двести...

Герольд, прерывая:

Торжественное шествие  
Пройдет на этом месте.

Этот же старец Тимофей вдруг появлялся с книгой Гомера в русском переводе и, выйдя на авансцену, дребезжащим голосом начинал читать по складам. Досада, недоумение, негодование других действующих лиц, которым он мешает; а хор в то же время добродушно-радостно, хоть и не без некоторой насмешки, восклицал:

Ах, какой чудной старик!  
Позабыл родной язык,  
Выдумал иную моду —  
Стал следить по переводу.

Когда царь Эгей ждет возвращения Тезея, он велит подать себе подозрную трубу и смотрит в нее, и старец Тимофей, зайдя с противоположной стороны, глядит в нее с другого конца. Эгей, конечно, ничего не видит и вдруг на мотив «Вниз по матушке по Волге» затыгивает «Ничего в волнах не видно». Под конец пьесы он горестно заявляет: «Ну, теперь мне ничего больше не остается, как броситься в Эгейское море».

На каждом представлении этих двух вещей брат хохотал так, что не только с лихвой восполнял молчанье иногда в большей части публики, но актерам приходилось иногда прерывать игру. Надо сказать, что актеры были хоть куда, по свидетельству лучших артистов, орлов тогдашнего московского Малого театра, и самых строгих театральных судей и критиков.

Тем не менее многие не могли понять, как может брат так уж восхищаться подобными представлениями, и когда замечали ему это, он говорил:

— У всякого свой вкус — кто любит ананас, а кто и свиной хряц; по-вашему, у меня дурной вкус, не стану спорить, хотя свиного хряца совсем не люблю, а ананас — очень; тем не менее театров ваших не признаю, а это одобряю до чрезвычайности.

Но не одно одобрение заставляло его ехать на «Тезея» каждый раз, как его просили: ему крайне трудно было не исполнить просьбы, огорчить друзей отказом. «Это уж было бы свинство», — сказал бы он в подобном случае о себе, равно как и о всяком другом. Отказывать кому бы то ни было в просьбе брату вообще было трудно. Помню, зайду иногда к матери (случалось

это последние 7—8 лет его жизни): «Володя нездоров сегодня, — горестно шепчет она, — в три часа встал, такой желтый, надо бы непременно бумажку к звонку, что не принимает, а то пойдут один за другим...»

Слышно — отворяется из комнаты брата дверь, размашистые крупные шаги, входит к нам, приостановился, сощурился на меня, потом улыбнулся, подошел ко мне, наклонившись, коснулся головой моей головы, поцеловал в воздух.

— В первую минуту не узнал тебя (брат был крайне близорук, но никогда не носил ни очков, ни пенсне); пожалуйста, мама, если кто — ко мне, не вздумайте сказать, что меня нет дома. По лицу вижу, что у вас был этот злой умысел.

— Но, Володя, ты же нехорошо себя чувствуешь; могут хоть на один день оставить тебя в покое. Позволь хоть Ф. не принимать, а то он как придет, так и будет сидеть без конца, знаешь его манеру.

— У каждого человека, мама, свои манеры, и у Ф. вовсе не плохие, бывают хуже. И вот именно его-то я и жду и пришел предотвратить ваши козни.

— Но может же он прийти в другой раз, когда ты будешь лучше себя чувствовать.

— Нет, не может, потому что ему нужно видеть меня именно сегодня, поймите это.

— Я понимаю, но...

— А в таком случае дальнейшее словоизвержение совершенно излишне. — И, послав мне рукой поцелуй, брат медленно удаляется, но в дверях останавливается. — Мама, даю вам честное слово, что если вы Ф. не примете, я сегодня же перееду в гостиницу.

Угроза гостиницей на этот раз была не очень серьезна, тем не менее мать видела, что не принять Ф. нельзя. И так бывало много раз. Сам заводить новые знакомства он не любил, слыл у некоторых за нелюдима, за дикого, но когда бы и кто бы к нему ни пришел, он был со всяким внимателен и от души любезен, будь то важное, известное лицо или полуграмотный сапожник. И когда у него просили что, давал все, что имел, без расчета и удержу. Давал свое время и знания, кормил и поил (когда жил в Петербурге — в гостинице), давал книги, платье и белье, давал деньги, часто все, что имел, буквально до последней копейки. И случалось так: извещает брат, что тогда-то приезжает (постоянного местожительства у брата не было: не считая его поездок куда-нибудь подальше на более или менее долгие сроки, он жил

или в Петербурге, в гостинице, или в Москве у матери \*; летом часто гостил у друзей); комната его приготовлена, приходит и проходит назначенный срок — нет брата. Проходит еще день, два — не приезжает. Наконец — телеграмма: здоров, приехать не могу, подробности письмом. Обыкновенно письма с подробностями после телеграмм никогда от брата не получалось; это была его манера — почти никогда не писать, находя это излишним, а в крайних случаях или в высокаторжественные дни именин посылать телеграммы, всегда неизменно кончавшиеся словами: «Подробности письмом». Но на этот раз письмо пришло; брат сообщал, что пришел к нему один малоимущий человек и за невозможностью помочь ему деньгами по причине их полного отсутствия, пришлось отдать шубу, от поездки же в Москву — отказаться, так как в легком пальто это не совсем удобно ввиду рождественских морозов.

Многие укоряли брата за его чрезмерную щедрость, иные даже находили, что это вовсе и не щедрость, а только желание прослыть щедрым, то же искание славы и популярности, тем более что очень легко быть щедрым, зная, что мать, сестра или еще кто не дадут ни голодать, ни без шубы зимой сидеть; некоторые находили даже, что, в сущности, это не только не показывает доброты или щедрости, а просто — гадость: все свое отдать, и часто без разбору, первому попрошайке, который еще может сейчас же все спустить в кабаке, а потом у других брать. Простой смертный так сделает, скажут — чужими руками жар загребает, а Соловьеву прощается.

Правда, что часто и мать, и сестра, а иногда и чужие по крови, но близкие по отношениям выручали брата; иногда узнавали стороной, что, например, Володя отдал новую пару и теперь у него только старый-престарый пиджак, в котором и у себя в комнате не очень удобно быть, а выйти положительно никуда невозможно, в кармане же 20 к.; иногда сам брат просит дать ему заимообразно и у своих, и у чужих. Знаю, что старшая незамужняя сестра ему никогда не отказывала, но знаю также, что, получив деньги (брат работал много и получал немало), он тотчас расплачивался с долгами, раздавал просившим, иногда, если выходил особый случай, устраивал друзьям обед или ужин, любил угощать, если кто заходил к нему в гостиницу, и обыкновенно скоро оставался без копейки до следующей полочки. Тут-то вот и приходилось ему отдавать вещами, если обращался к нему кто

---

\* Когда мать переехала в Петербург, брат имел всегда в Москве комнату у старшей незамужней сестры.

неимуций. Быть может, случалось ему изредка и не вернуть долга сестре, от которой ему легко было принять и подарок, допускаю даже, что он умер, не вернув долга и кому из знакомых, которым он, по его полному убеждению, не принес этим сколько-нибудь существенного урона, но заподозрить брата в том, что таковое отношение его к деньгам и вообще к имуществу было исканием славы или популярности, могли только люди, совершенно его не знавшие, со стороны же знавших его это — неудавшаяся попытка пошутить, и больше ничего. Ведь славы и популярности жаждут тысячи и тысячи людей, отчего же всякий нещедрый в погоне за ними скорей согласится на очень рискованный и некрасивый поступок, чем хоть раз расстаться с нужными вещами или тем более деньгами, столь бесконечно милыми сердцу всякого нещедрого; брат же с ними расставался всегда, всю жизнь по первой просьбе иногда незнакомого человека; чем больше получал, тем больше давал. Надеялся, что выручат? Но выручали все же не всегда, даже и близкие иногда просто не могли, иногда брат скрывал свое безденежье и, если только к нему в это время не обращались за помощью, переносил его с самым легким сердцем, так как лично для себя был баснословно нетребователен; случалось ему знать и нужду, и он потом, рассказывая о ней, заливался безудержным радостным смехом, потому что у матери было уж очень выразительно скорбное лицо. Нахохотавшись, брат с лаской протягивал к ней руку и говорил:

— Ну, успокойтесь, бедный мамант! И стоит ли делать из-за всякого вздора такое удрученное лицо. Уверяю вас, это совершенно неважно, к тому же дело прошлое.

Помню раз детски ликующее выражение лица брата, когда он стал вдруг вытаскивать из карманов деньги и класть их на газету.

— Смотрите, мама, какое у меня количество этого презренного металла. Только что получил в редакции... Больше, кажется, нет. — Он щупал карманы, запускал в них большой и указательный пальцы. — А нет, вот еще, смотрите, смотрите, мама, вот и еще! — Он с радостным изумлением расширял и вновь сощуривал глаза.

— Да что ж, ты не знаешь сам, сколько у тебя денег, что так изумляешься? И как это можно: прямо насыпал в карманы! Так легко потерять; спрячь лучше от греха подальше да постарайся не спустить их сейчас же.

— Вот именно.

— Что именно? Ах, Володя, это невозможно: сам Бог знает в каком костюме, а деньги у тебя уходят неизвестно куда.

— Ну, положим...

— Ничего не положим... Право, вот взял бы и заказал себе хоть новый пиджак, а то просто срам.

— Успокойтесь, мама, вам волноваться вредно; к завтраму же от этих денег у меня не останется ничего.

Мать всплескивает руками, брат раздражается неистовым смехом.

— Да куда ж ты столько?

— Нужно, мама, нужно. И кроме того, деньги для того только и существуют, чтоб их тратить.

— Если б твой отец так рассуждал, твои сестры не имели бы ни копейки.

Брат с минуту молчит, издав носом звук, похожий, как если б сильно втянул воздух; он это часто делал, когда чувствовал досаду или смущение. Отца брат любил особо глубокой и нежной любовью и чтит свято его память.

— У меня, мама, кажется, нет не только пяти, но и ни одной дочери, и едва ли когда будет, а потому я, полагаю, имею право несколько иначе распорядиться своими деньгами; уверен, что папа меня в данном случае одобрил бы.

— Ну уж нет, извини: папа никогда не швырял деньгами, как ты...

— И я не швыряю; разве вы когда-нибудь видели, чтоб я швырял...

— Ну, не остри. А эта одна твоя манера давать извозчикам в пять — какое, — в десять раз больше того, что следует!

— Что разумеешь под словом «следует»? Я вот сейчас дал извозчику из Гагаринского переулка (расстояние, оплачивавшееся тогда 10—20 копейками) три рубля. Понимаете, это был совершенно несчастный извозчик — у самого болят зубы, лошадь представляет недвижимое имущество; так он сначала не хотел верить, что ему сурьезно даю. Поймите: ведь он совершенно ослеплен этими тремя рублями. Мне даже совестно стало...

Извозчикам брат действительно давал несоразмерно много, и плохим еще больше, чем хорошим: плохим труднее заработать. На лихачах же не ездил никогда. Свои извозчики, то есть стоящие у нас на углу, конечно, все его знали, и только хлопнет наружная дверь, с диким криком мчались к подъезду. Были бы не прочь когда и подраться, но брат объявил, что тогда не станет с ними ездить и что нужно соблюдать очередь. Случалось ему и подолгу должать извозчикам, но они от этого, конечно, ничего не теряли. А приедет он откуда и начнет расплачиваться — вытащит кошелек и роется, роется в нем без конца; если вечер,

пойдет под фонарь, рассматривает каждую монету, прищуривается. Всякий незнающий, увидев его так, подумал бы: вот боится выронить или ошибиться и дать больше хоть копейкой, скряга! Но брат при своей рассеянности и близорукости поступал так потому, что всегда боялся недодать.

Помню, также поражало меня всегда удивительно внимательное, до последней степени деликатное отношение брата к прислуге, а также ко всем маленьким людям. Среди последних встречались люди маленькие не по положению своему, а просто потому, что уж очень были незаметны, скучны, так что ими все тяготились. Брат и к таковым всегда относился с особым вниманием, боялся забыть поздороваться или проститься, а если подобное и случалось благодаря его близорукости и рассеянности, отыскивал данное лицо и горячо и чистосердечно извинялся.

— Если я нечаянно не окажу почтения важной особе или мнящей себя таковой и она за это обругает меня свиньей и нахалом, мне все равно, но если маленький, скромный да еще, избави Господи, забитый человек сочтет себя обиженным мной, это — мерзость, которой я себе не прощу; с такими надлежит быть особенно деликатным — тут уж ни на рассеянность, ни на близорукость ссылаться нельзя.

По воскресеньям с незапамятных времен у родителей, потом у матери бывали фамильные обеды, на которые собирались родственники; в числе последних присутствовал иногда такой маленький, судьбой обиженный человек, садившийся всегда на самое скромное место и во все время обеда не решавшийся произнести слова. Если брат когда опаздывал к обеду, он, видя уже всех за столом, садился на свое место не здороваясь — свои люди, не взыщут, но, сев, сосредоточенно щурился и внимательно осматривал всех присутствующих — нет ли такого маленького человека, и если находил, на всю комнату приветствовал его с бесконечно доброй, ласковой улыбкой и прибавлял:

— Ради Бога, простите, что я с вами не поздоровался, но я так опоздал, что не хотел еще задерживать.

И в буквальном смысле маленьких, то есть детей, брат очень любил, и дети отвечали тем же и шли к нему с полным доверием; и не только шли, а часто лезли, приставали. Он иногда делал нарочно страшные глаза и ехидно-зловещим тоном говорил пристававшему малышу:

— И не подходи, и не подходи! Ссокрррушу! — и вдруг поднимал голос до дикого крика и рева, но не только ничем этим не пугал малышей, а, напротив, возбуждал в них проявление бур-

ной веселости, так как они чуяли в этом, как и должно, только интересную игру в пуганье.

Но когда шалости и пристаиванье чрезмерно затягивались или брат узнавал, что такой-то и такой-то младенец или младенцы чем-либо удручают родителей и прочих взрослых, обреченных на близкие сношения с ними, он обращался к соседу или соседке и негромко, но убежденно и увещательно говорил: «Выпьем за доброго царя Ирода». Иногда же не обращался ни к кому, а, подняв стакан, очень решительно и очень громко заявлял: «Пью за доброго царя Ирода!»

Деликатное и заботливое отношение брата к прислуге доходило иногда до чудачества, только вполне искреннего: если когда была ему нужда послать за чем-нибудь горничную или лакея, он не только давал всегда на извозчика, и гораздо больше, чем следовало, но и справлялся о состоянии здоровья посылаемого:

— Может, слишком скверно на дворе, а вам нездоровится?

— Да нет, Владимир Сергеевич, я сейчас схожу, пожалуйста.

— Но мне совестно, Алексей, вас посылать — вон, повалил снег, а вы кашляете.

— Да это самые пустяки, что я кашляю: ноги, верно, промочил.

— Как промочили, почему?

— Да калоши теплые износились, а новых еще не завел.

Брат зашагал к матери и заговорил взволнованно, с расстроенным лицом:

— Послушайте, мама, нельзя ли послать Дарью? Мне совершенно необходимо, а у Алексея нет калош.

— Дарье некогда, и какие там калоши? Слушаешь все, что он тебе же наскажет.

— Ах, мама! Поймите же, он кашляет, а калоши худые.

— Он вечно кашляет, меньше бы пил, меньше бы кашлял.

— Володя, — доносится из комнаты старшей сестры ее насмешливо-подзадоривающий голос. — Я тебе советую послать Алексея в карете, а потом растереть ему ноги уксусом.

— Вздор, — говорит брат и смеется.

А через минуту с детски смущенным лицом идет к себе, ищет по всем карманам, рассматривает, пересчитывает деньги, наконец опять зовет Алексея.

— Так вот что, Алексей: прежде чем отправляться, куда я сказал, заезжайте и купите себе калоши, вот вам на калоши и вот еще прибавить извозчику за заезд.

— И для чего ты это опять сделал? — сказала мать, узнав о финале истории с калошами. — Ведь он же тебя обманывает.

— Как вам не стыдно, мама! Эдакая у вас подозрительность!

Увы, подозрительность матери оказалась более чем основательной. Алексей, живший у нас много лет и которому мы все доверяли в крупном, как выяснилось впоследствии, искусно систематически нас обкрадывал и кончил тем, что взял у брата со стола 500 рублей, на которые тот должен был ехать за границу. Брат рассказывал нам потом, как это случилось.

— В доме, кроме меня и Алексея, никого не было, я сказал ему, что на минуту поеду проститься, затем вернусь за чемоданом. Спустившись уже с лестницы и вспомнив, что оставил деньги на столе, решил, что лучше вернуться и положить их себе в карман. Не потому, чтоб я не доверял Алексею, вы знаете, что до этого несчастного случая я ему доверял безусловно, но я люблю деньги иметь при себе, и потом, никогда не следует искушать одного из малых сих. Когда я поднялся, дверь в переднюю не была заперта, я вошел без звонка; иду в свою комнату, Алексей там что-то убирает. Увидев меня, он вскрикнул, побледнел и весь затрясся, очевидно, он только что взял деньги, никак не ожидая, что я тотчас вернусь, оттого, увидав меня, и испугался так. Я же испугался не меньше его, и, разумеется, мне не денег было жаль, это уж второстепенное, а ужасно вдруг увидеть в человеке этот чисто животный страх быть уличенным в мерзости. Однако у меня еще была надежда, что он сознается, и тогда все спасено. Денег на столе, само собой, не оказалось. Тогда я стал просить Алексея сознаться, побожившись в таком случае никому никогда не обмолвиться об этом ни словом. Просил его, заклинал, умолял. Так страшно мне хотелось, чтоб он только сознался, что, умоляя его, я чуть не плакал и с радостью отдал бы ему и все эти деньги. Он сначала, совершенно потрясенный и от страха потеряв голову, бормотал что-то нескладное и невнятное, но как только побожился, так окончательно осатанел и стал громко и нахально меня же укорять, что я взвожу на него напраслину. Тогда я почувствовал к нему уже не сострадание, а полное омерзение, и стало мне крайне скверно. По счастью, в эту самую минуту приехал Миша (младший брат, с которым Владимир был особенно дружен), и с его помощью Лихутинский дом (мать жила в нем до переезда в Петербург) был очищен от Алексея. То есть он забрал свои и не свои пожитки и уехал, так как брат и слышать не хотел, чтоб задержать его и пригласить полицию, что бы следовало сделать, так как, когда он перед тем хныкал и причитал, что вот, мол, до чего пришлось дожить, младший брат предложил ему открыть сундук, и тут выяснилось, что, хоть денег в нем не нашлось — очевидно, были на самом Алексее, — тем не ме-

нее оказалось немало вещей, несомненно не ему принадлежащих, как-то: тома «Истории России с древнейших времен», сербьянская ложка с вензелем матери и т. д.

Вспоминая эту печальную историю с Алексеем, брат говорил, что вначале он еще нет-нет да и подумает: а вдруг он возьмет да и явится с повинной — «как бы это было хорошо!». Но потом эту надежду потерял.

— И главное, столько лет у нас жил, я был уверен, что он так был привязан к папá и нам всем, и вдруг... — говорил брат с глубоким и горестным изумлением, так как особенно страдал от малейшей измены верности и дружбе и сам исключительно глубоко и сильно чувствовал благодарность за всякую, и даже небольшую, услугу.

Помню, как раз он был тронут, что хороший знакомый, с которым он был даже на «ты», привез его домой после одного товарищеского ужина, где брат излишне выпил, так что рисковал не найти своего дома.

— В таком мерзостном виде, в каком я был, он ухаживал за мной, как самая добрая нянька, спасибо ему и тебе, Надежда, спасибо, но ты сестра.

— Да как же можно иначе? Он вполне владел собой и, понятно, не мог тебя оставить в таком виде, всякий так бы поступил.

— Ну нет, мама, не говорите, не всякий, и далеко не всякий.

Брат глубоко вздыхал, и в глазах его было большое страдание. Потом я узнала, что на этот раз он до такого мерзкого вида себя допустил потому, что убедился в несовершенном бескорыстии чувства и в безупречной верности друга, которому сам раньше верил безусловно. Подобные вещи трудно ему было принять; и когда дело касалось лично его, он, переболев душой измену, прощал и сам оставался верен и неизменен, но за других не прощал и беспощадно громил и клеймил подобные поступки.

Вообще я замечала, что как ни казался иногда брат ушедшим в свой отдельный от окружающей его обычной жизни мир, задумавшимся минутами так, что, казалось, не видит и не слышит ничего, что творится кругом, — бывало это и за обедом, и за чаем, — он в то же время вдруг услышит что-нибудь, даже сказанное тихо, к немалому изумлению сказавшего, и вдруг крикнет: «Какой вздор!» или: «Вы опять злословите, перестать сейчас!» А если заинтересуется узнать подробней, переспросит; прослушав, еще скажет: «Вы это знаете наверно, убеждены?» И в случае подтверждения поморщится.

— Ну, это уж мерзость, мерзость запустения. Нравственное моветонство. А если внешнее моветонство — труднопереносимая

вещь, какова же гнусность — моветонство внутреннее! Это — ужас!

А иногда сидит совсем мрачный, удрученный и тоже, кажется, душой отсутствующий, услышит что-нибудь или о ком-нибудь хорошее — и вдруг скажет слово одобрения, и все лицо разом просветлеет. Другой раз уловит удачную острогу и улыбнется, и вот уж сам острит и смеется.

К одной из черт брата, глубокотрогательных, надо отнести и его удивительную терпимость, которой я поражалась еще в детстве. Бывало, рассердишься, вскипишь и крикнешь: «Это идиотство так рассуждать, ничего не понимаете, какая чушь!»

— Что ж, ты лучше всех понимаешь?

— Конечно.

Но каждый раз, как при брате возникали подобные несогласия, споры, один громил другого, готов был съесть за несогласие, раздавался его голос: «Ты так думаешь, а она эдак. Докажи, что она ошибается, а не хорохорься по-пустому».

Брату было важно одно: *искренно* ли человек думает, и одного он не мог принять совсем — это фальши и лжи.

— Мама, если он так думает?.. Ну, а если ей так кажется, я в данном случае совершенно одного с вами мнения, ну, а... Д. противоположного; если нам удастся разубедить — хорошо, а нет — он будет думать, что правда на его стороне... мало ли что кому кажется! Но если искренно кажется, это то же самое. Предоставьте каждому свободно думать, как и что хочет, и свободно выражать.

Искреннего и горячего противника своего в самых святых для него вопросах веры брат мог любить, неискреннего и неубежденного единомышленника ненавидеть. Вспоминается мне реферат, который он прочел пятнадцать лет тому назад в Москве и после которого публичная речь окончательно была ему запрещена. «Будет говорить на религиозную тему, ах, если б разгромил безверие! А то столько развелось теперь безбожия и беззакония», — говорили или думали с вожделием верующие, христиане, все, живущие по закону, и заранее потирали руки.

Зал был переполнен, яблоку негде упасть. Соловьев вышел; бледный, тихий, печальный, смотрит перед собой чуть-чуть прищурившись, но вот приподнял голову, всегдашним жестом откинул со лба волосы, заговорил, сначала негромко, потом голос все креп, могучей, мягко звенящей волной перекатывался по залу, вольно, легко разливаясь до самых дальних концов и углов. Широко раскрытые глаза горят, лицо вдохновенно и все словно светится. Соловьев громит, голос растет, и кажется, один

этот человек в зале, один звук наполняет весь воздух кругом — его голос. Соловьев громит беззаконие... власть имущих законников, безверие верующих и христиан, бьющих себя в грудь и смиренно и самодовольно произносящих: «Господи! Благодарим тебя, что мы — не как эти прочие мытари и грешники», — после чего спокойно предаются радостям жизни, в которой каждодневно распинают Христа. Он прославляет неверующих, которые, не веря, горят любовью и сгорают за других; тех беззаконников, которые, попирая законы человеческие, блюдут, хотя бы и не сознавая в горячности своей, законы Бога. Ибо к таковым неверующим и тем верующим относятся слова Христа: «Не всяк, говорящий мне “Господи, Господи!”, войдет в царствие небесное, но творящий волю Отца моего».

Оправдал, изблещил, разгромил и пошел с эстрады медленно, чуть сгорбившись, приглядываясь и щурясь, чтоб не толкнуть кого, не наступить кому на ногу в эдакой давке.

Взрыв бешеных аплодисментов с одной стороны, несмелое, невнятное шипенье с другой.

— Пророк, пророк! Горел весь сам, как говорил; так и жег каждым словом. А лицо-то, что за красота! Да за одним таким лицом и голосом пойдешь на край света.

— Что он, с ума сошел? Хорош верующий! За атеистов и всех подобных заступает... Против правительства, против законного порядка... Юродствует, оригинальничает, популярности среди этих, красных, ищет... Чересчур смел — надо бы ему рот закрыть...

И закрыли.

Я уже сказала выше, как брату трудно было отказывать принять, кто бы ни пришел к нему со своей нуждой, так что иногда, когда особенно неудобно было отрываться в неопределенные сроки от работы, он уезжал в любимую им Финляндию; в этом я убедилась раз на себе самой; переживалась полоса беспричинной тоски, и, когда это неприятное чувство достигло крайних пределов, решила пойти к брату, хотя знала, что он как раз усиленно над чем-то работал; может, посоветует что-нибудь, поможет. Стукнула, приотворила дверь. Пишет, пишет, чуть приподнял голову.

— Что такое? Что надо?

Решимость моя слабеет: он, может быть, в эту минуту именно пишет какое-нибудь великолепие, а я — со своей беспричинной тоской...

— Да ну, что такое наконец? — Взглянул на меня, но, кажется, не увидал.

— Володя... я давно хотела... у меня тоска... ужасная...

Несколько мгновений вполоборота приподнятая ко мне голова неподвижна — он точно или не понимает, что я говорю, или не слышит, думая о другом; потом вдруг, откинув со лба волосы, встает, подходит ко мне и близко вглядывается.

— О Господи, что это за египетская физиономия!.. Ну, говори толком, что тебе от меня нужно?

Мы сели на диван, и я кое-как рассказала свое дело. Он выслушал внимательно и ласково, сказал, что и с ним это бывает, хотя все-таки причина тут есть, только мы ее не видим, посоветовал пробовать некоторые средства, к которым и сам прибегал, но далеко не всегда успешно, и тем не менее не видел еще тут достаточного повода, чтоб искать крюк и веревку. Разговорил меня, ободрил и успокоил.

— Прости, пожалуйста, что я оторвала тебя от работы, мне и совестно...

— Ну, вздор!.. А знаешь, — вдруг засмеялся он, — иногда эта беспричинная тоска имеет причиной просто скверное состояние желудка, я сам это испытал. — И, выйдя за мной из своей комнаты, он обнял меня за талию и сделал несколько туров по зале и гостиной.

Кстати, насчет желудка: брат был очень умерен в пище, ел, только чтоб не быть голодным, хотя иногда, заработавшись, мог терпеть и чувство голода; не придавал ни малейшей важности вопросу о *bonne chère*<sup>9</sup> и не выносил, чтоб и другие придавали, но ошибочно думать, что брат был совершенно равнодушен ко всякой пище в смысле отсутствия вкусов или болезненного отсутствия аппетита, совсем наоборот: он очень любил некоторые вещи, например сладкое, шоколад, фрукты и ягоды, особенно малину, только боялся очень червяков и просил — нельзя ли получше выбрать, но, понятно, сам себе ни разу в жизни не купил никакого лакомства, а когда давали, был доволен и ел очень охотно. Хотя у матери обед всегда заканчивался сладким, садясь за шашки за послеобеденным чаем, брат говорил: «Мама, нельзя ли чего-нибудь сладкого?» И, мурлыча и обдумывая ходы, истреблял этого сладкого изрядное количество. Иногда не глядя протянет руку, а тарелка уж пуста.

— Хочешь еще? Я сейчас положу, — говорит мать.

— Нет уж, это, кажется, будет чрезмерно.

— Чего там чрезмерно, я тебе рябиновой пастилы дам, — соблазняет мать.

Брат вскидывает глаза на шифоньерку, где у матери всегда хранились удивительно вкусные вещи, но, решительно тряхнув головой, говорит умышленно строго:

— Оставьте, мама, я уже сказал, что истребил достаточно, теперь уж это будет от лукавого.

Помню, раз в Петербурге приехал брат к матери обедать, обед немного запоздал.

— Мама, если сейчас не дадут есть, со мной может произойти что-нибудь печальное, ибо я с утра ничего не ел (но утро брата начиналось очень поздно, обедать же должны были в половине шестого).

Мать засуетилась, пеняя на кухарку, что «всегда-то опоздает».

— Только, ради Бога, мама, не вздумайте еще делать ей выговор, она тут ровно ни при чем и совершенно не виновата, если я голоден.

И брат принялся за черный хлеб, съел все, что было положено для всеобщего употребления, и радостно заявил: «Вот я и сыт».

Брат был полувегетарианцем, то есть не ел мяса, но за этим же обедом он сознался, что очень долго вид и запах мяса был ему крайне неприятен — так хотелось его, и особенно искушала ветчина. А многие думали, что брат совсем легко может «питаться воздухом», мясо же ему просто противно. И действительно, порой приходилось ему бывать на пище св. Антония, и он при этом чувствовал себя легко, а потом рассказывал о подобных периодах со смехом. А если мать ужасалась, говоря, что так он совсем уходит себя, брат хохотал громче и говорил:

— Какой вздор! Во-первых, мама, я рассказываю это ради шутки, чтоб увидеть, какое вы при этом сделаете лицо, во-вторых, сколько раз я вам говорил, что, главное, об этом нужно как можно меньше думать, не то легко можно впасть в омерзительный грех чревоугодия\*; а вот если уж хотите, так сказать, вознаградить меня за прошлое недоедание, от чего я, впрочем, ни капли не пострадал, озаботьтесь, чтоб сегодня вечером было красное вино, ибо я жду Ф. — И, видя при этом неожиданном заключении разочарование и смущение матери, заливался безудержно.

Да, ни против одного из видов чревоугодия брат не погрешил ни разу в жизни ни делом, ни мыслью, но в употреблении вина бывал иногда неводержан, когда его угощали или он угощал других по поводу какого-нибудь события. Иногда просил у ма-

---

\* *Грех чревоугодия* — забота чрезмерная об угождении чреву, какое угождение может быть в смысле излишнего упитывания его в количественном отношении, или, что то же, обжорство и чревобесие, угождение исключительно вкусовым ощущениям чрева — гастрономия. Влечение исключительно к определенным лакомым вещам могло носить и еще более специальное название; так, когда брату хотелось сладкого, он говорил: одержим сладкобесием.

тери, чтоб она, уж так и быть, разорилась для него на бутылку красного, но редко; сам же только для себя денег на вино не тратил. Любил чай и мог выпить невероятное количество; пил обыкновенно очень крепкий и без ничего, даже без хлеба. Иногда заранее предупреждал, что будет пить много, и настоящего чаю, а не «помои», другой раз пил и «помои», не соглашаясь, чтоб заставляли прислугу опять ставить самовар для новой заварки чаю.

Думается, что и некоторое пренебрежение брата к туалету, которое иные, судившие поверхностно, объясняли тем, что брату все равно в чем ходить, происходило никак не от равнодушия его к красоте одежд, а было того же происхождения, как и мнимое равнодушие его к вкусовым ощущениям.

— Послушай, Надя, — сказал он раз сестре, — нельзя ли как-нибудь поделикатней, чтоб не обидеть, посоветовать И., чтоб он не носил таких галстухов; ты должна это сделать. И, вообще, он одевается несколько моветонно. — Брат поморщился, точно услышал скверный запах. — Разве нельзя его в этом исправить?

— Ну, знаешь, — заметила мать, — тебе не мешает о собственном одеянии подумать: нельзя же, в самом деле, так ходить.

— Как так! Надеюсь, вы не думаете, что я когда-нибудь бываю одет моветонно?

— Надо новую куртку сделать — на этой уж лица нет.

Брат стал внимательно себя оглядывать.

— Разве куртке полагается иметь лицо? — тихо и недоумевающе-серьезно проговорил он. — Я с вами, мама, не согласен, — куртка как куртка, и, чтоб доказать вам это, сегодня же поеду в ней к Х. (называет одну из великосветских фамилий).

— Да ты уж не срамись, а хочешь этого непременно, так хоть мне-то, по крайней мере, не говори.

Брат раздражается таким неистовым хохотом — вот-вот сотрясется потолок и рухнет лампа.

— И чего смеется! Разве я неправду говорю? Не понимаю, как можно в таком виде к товарищу отправляться, а не только...

Хохот усиливается, заглушает ее слова; наконец в перерыве брат произносит:

— Увы, мама, как давно уж, значит, и в скольких газетах я посрамлен раз и навсегда.

— А еще недавно старушка А. мне опять повторяла, — вдруг другим тоном говорит мать, — как бы она была счастлива, если б ты хоть на минуточку к ней заехал.

— Ну вот видите, мама, как вы сами себе противоречите: при чем же тут моя куртка?

— Да как при чем?.. А ты все-таки съездишь как-нибудь к А.?

— Непременно, потому что я обещал.

— Так уж хоть к ней-то надень сюртук. И он плох, а все же приличней.

Брат как бы задумывается и глубоко вздыхает.

— Ну, так уж и быть, из уважения к вам, а также ради почтенных лет А.

— Да есть ли у тебя галстух? Ты вот у других замечаешь, а сам совсем без галстуха ходишь.

— Да, этот предмет мне представляется почти бесполезным, и, за редким исключением, я его употребление упразднил. Но согласитесь, мама, — ведь вы все нападаете, что я плохо одеваюсь, — согласитесь, что, собственно, моветонного вы никогда на мне ничего не видали.

— Да кто тебе про это говорит?..

— Ну а это самое главное. И, значит, вы можете успокоиться и больше ко мне с этим не приставать.

— Но ведь всему бывает конец, и куртка твоя изнасилась до невозможного; никто из чужих тебе этого не скажет, а я должна: она, кроме того, что местами блестит и протерлась, она ко всему еще страшно грязная.

— Вздор, — говорит брат уже несколько смущенно, — можно еще скипидаром...

— Нет, уж я отказываюсь: ее больше скипидар не берет.

— Ну, так я сам. А в следующем месяце, может быть, закажу новую.

— Еще только может быть?

— Да, мама, наверно я вам этого сказать не могу. — И брат смотрел серьезно и озабоченно.

Присутствуя при подобных сценах, душа моя ликовала: так упорно торговался из-за новой куртки, из-за галстуха или сапог человек, постоянно плативший четверные суммы извозчикам, одевавший прислугу, шарманщиков, нищих, отдававший иногда совсем постороннему, а то и незнакомому неимущему последние деньги, потому что «их иногда этим прямо осчастливишь, для них это — важно, а для меня — последнее дело».

Но, отправляясь после такой сцены куда-нибудь в гости, брат усиленно хлопотал и тряс свое платье, чтоб стряхнуть с него пыль, затем поливал щедро скипидаром и искренно был убежден, что так, по крайней мере, оно чисто и не моветонно, остальное неважно. Одна знакомая старая дама, вечно опасавшаяся за брата простуды, подарила ему огромный красный шарф, ею самой связанный. Вот обмотает брат этот шарф много раз вокруг

шеи, концы болтаются несколько странно, но и живописно; и так его характерная фигура и голова останавливали на себе внимание, а уж тут за версту узнаешь. Кто-то как-то подшутил над этим шарфом, найдя его вовсе некрасивым. Брат обиделся за подарившую и с негодованием сказал:

— Если б он и был не такого прекрасного цвета, я бы все же носил его с удовольствием и благодарностью, потому что М. П. трудилась над ним, думая о моем здоровье.

Скипидар брат любил употреблять не только как пятновыводящее средство, но и как дезинфицирующее; к числу его странностей надо отнести его страх заразиться исключительно дурной болезнью. Вообще, он ничего не боялся, но к этой болезни он чувствовал прямо панический ужас. У нас был знакомый, иногда приходивший и обедать, который казался несколько подозрительным по части состояния своего здоровья, хотя сколько-нибудь положительно на этот счет никто о нем не знал.

— Мама, как мне быть? — с крайним смущением сказал раз брат. — Вдруг Д. захочет со мной христосоваться? (Дело было на Пасхе.)

— Ну так что ж?

— Как что ж! Вы же знаете, какие у меня подозрения на его счет.

— Пустяки, ничего у него нет, просто горло не совсем в порядке, а теперь уж и лучше гораздо.

— Ну нет, это не пустяки, это — ужас.

— Какой там ужас?

— Вы же сами раньше говорили, что подозрительно.

— Ну а теперь больше не говорю.

— Вы безусловно уверены, что это так?

— Ах, Володя, да что я — доктор, что ли, и он у меня лечился!

— Ну, вот видите, мама, в какое вы меня ставите невозможное положение!

— То есть почему же это я тебя ставлю, скажи на милость?

— Да как же не вы! Он прежде всего ваш знакомый, и, кроме того, вы, как хозяйка, должны были бы обо всем этом позаботиться, принять меры, ну, я не знаю, что именно... это ваше дело.

— Помилуй, Володя, что ты такое говоришь!..

— Не делайте такого уж чрезмерно огорченного лица, — не удержался и рассмеялся брат, но через минуту продолжал, по-прежнему смущенно и серьезно:

— Поймите — не могу я обидеть человека, да еще гостя, да еще на Пасхе, если он пожелает меня поцеловать, а я от него — как от зачумленного.

— Так зачем же так — как от зачумленного?

— Ну, а если заражусь, что вы тогда скажете?.. Каково это вам самим будет?

— Да почему же непременно заразишься?.. Вздор придумываешь, как же никто из нас этого не боится?

— Вы, как женщины, находитесь в привилегированном положении: он у вас руку целует, это другое дело. Если б он еще целовал на воздух, а то я заметил, что у него скверная манера целовать прямо в губы.

Приходил Д., трижды целовал брата, и тот приветливо отвечал ему тем же, а потом незаметно исчезал в свою комнату, чтоб вымыться и облиться скипидаром.

Хоть брат и выражал свое смущение матери полусхвату, до известной степени он страдал, принимая подозрительные поцелуи Д., хотя тот, конечно, опасности не представлял. А между тем в другую Пасху довелось мне стать очевидицей следующего: мы жили тогда в одном из переулков Арбата, и окна нижнего этажа квартиры приходились совсем низко над землей; Пасха была поздняя, окна выставлены; вхожу в столовую и вижу: окно настезь, брат сидит на нем спиной к комнате, спустив ноги за окно на тротуар и христосует с очень непривлекательным на вид, грязным, пьяным нищим. А кругом собрались свои и не свои извозчики и с большим утешением смотрели на эту сцену. Смеялись громко и восклицали умиленно: «Ну что ж это за барин за такой задушевный! Что это за Владимир Сергеевич!»

Нищего, конечно, брат оделил и деньгами, яйцами и вина ему поднес. На все это вышедшая в столовую на шум и хохот мать смотрела очень кротко, не выражая ни малейшего желанья к какому бы то ни было противлению; но когда осмелевший нищий захотел войти в квартиру и полез в окно, она решительно запротестовала.

— Нет-нет, этого я не хочу: пьяный, с улицы...

— Только прошу вас, не оскорбляйте его ради праздника... говорите по-французски. О, почему он пьян? Он только слегка навеселе. Вы имеете возможность иначе справлять праздник, а он, вероятно, нет...

В эту минуту нищий повел себя не совсем приятно, и даже брат, хоть и со смехом, но принялся затворять окно.

— И вот с таким ты целуешься! Тут действительно какую угодно заразу можно схватить.

Пораженный, брат широко раскрыл детски-испуганные глаза, потом смущенно заморгал и потянул носом воздух.

— Что же вы мне раньше не сказали!.. Впрочем, вздор, — благодушно рассмеялся он, — с какой стати! Ничего в нем похожего нет. — И зашагал по комнате, задумчиво щурясь и напевая.

Думается, что вышеприведенного достаточно, чтобы показать, как много в его страхе скверной болезни вместе с глубоким чувством отвращения и почти панического ужаса было и так свойственного ему искренне-детского дурачества, вроде того, как иногда дети сами себя пугают букой. И меньше всего был он способен думать и заботиться о собственном здоровье, потому и жизнь вел очень негигиеническую, работая иногда все ночи напролет, так что, когда мы вставали, он только ложился и порой забывал совершенно о пище и отдыхе.

Так и вижу, какие бы он сделал огромные, совершенно непонимающие глаза, если б ему вдруг сказали: «О Володя, а ты не думаешь, что вот это вредно, а то — полезно?» А в следующий минуту сказал бы: «Что за вздор!» — и рассмеялся бы так задумчиво и заразительно, что и задавший вопрос ответил бы тем же и усумнился бы: не сказал ли он и правда нелепость.

Брат любил ходить и мог ходить много, но прогулки делал только летом, когда случалось быть в деревне или на даче, в городе же всегда, и даже на самое маленькое расстояние, брал извозчика. На даче любил уходить подальше, в уединенные места, говоря, что во время таких прогулок хорошо думается.

Природу он любил глубоко и нежно, но на словах выражал это редко. Помню, однако, два случая, когда меня поразили его лицо и тон, и я подумала: как он должен сильно чувствовать природу! Первый раз это случилось зимой, мы вернулись из оперы и собирались пить чай; пользуясь случаем получить свой любимый напиток, брат тоже пришел в столовую и в ожидании своего стакана подошел к окну, не занавешенному шторой, и словно застыл перед ним; за окном была тихая морозная ночь и полнолуние. Лучистое, серебристо-голубое небо наверху, лучистый, серебристо-голубой снег внизу.

— Володя, пей чай, — сказала старшая сестра, — что ты там стоишь? От луны все равно не чихнешь.

Брат не отвечал. Я подошла и заглянула: лицо у него было радостно и печально растроганное.

— Как хорошо! — сказал он чуть слышно. — Какая удивительно прекрасная ночь! — И через минуту, взглянув на меня, прибавил громче:

— Пой «Casta diva»!

Другой раз это было летом и гораздо позднее; я с мужем и ребенком жила в деревне. Вдруг как-то, уж близко под вечер, со-

вершенно неожиданно приезжает брат. Дали ему чаю и малины, он объявил, что пока этого вполне достаточно, чтоб не умереть с голоду до ужина (целый день ничего «не удалось» поесть), и предложил пойти пройтись. Объяснили ему дорогу, и он пошел вперед, так как мы с мужем минуту задержались. Потом выходим из калитки, смотрим на дорогу — где же брат? А он поднялся на небольшой бугор с краю дороги и стоит там неподвижно, смотрит вдаль. Окликнули — не отвечает.

— Наверно, чем-нибудь зачарован, — сказала я.

Взобрались тоже на бугор, подошли к нему, он обернулся, и опять я увидела глубоко растроганное, радостно-печальное и светлое-светлое лицо.

— Какая удивительная тишина! Какая необыкновенная, великолепная тишина! Слышите? — проникновенно сказал он и, прислушиваясь, поднял в воздух указательный палец правой руки.

Была действительно в природе та полная и так много говорящая тишина, которая случается иногда теплыми вечерами конца лета перед закатом солнца. Тишина звуков, тишина красок: ни яркого света, ни резких теней, и день был серый, и теперь все небо в мягких, пушистых серо-белых барашках; за ними туда, к западу, к стороне большого дальнего леса, — солнце, но его не видишь, только чуешь, оно еще покажется сегодня, недаром вон там края серо-белых облаков чуть-чуть золотятся; но пока оно притаилось.

Постояв с минуту, мы подошли к полю, и брат заговорил — и серьезно, и шутя, и острил, и смеялся, и опять говорил о важных предметах, но время от времени прерывал свою речь, останавливался и, подняв палец, негромко произносил: «Но, обратите внимание, какая тишина! Какая совсем удивительная, великолепная тишина!»

Способность дурачиться, «как самый маленький ребенок», по выражению Анны Кузьминичны, брат сохранил всю свою жизнь; кроме того, были в нем самом такие смешные странности, которые давали повод уже другим подшучивать над ним; иногда было совсем нетрудно и раздражить его, тоже совсем как маленького ребенка. Помню, например, как раз он пришел в полное отчаяние, потому что ему показалось, что он потерял вязаный розовый башмачок с ноги ребенка женщины, которую он любил и от которой получил его в подарок. Башмачок этот, как талисман, носил он в боковом карманчике жилета у груди, изредка вынимал, любуясь, смотрел на него с улыбкой, иногда целовал и опять бережно прятал. Показывал его далеко не всякому, а кому дове-

рял, и то только в более радостные минуты. И вот вдруг хватается за грудь, в карманчике — пусто: драгоценный башмачок исчез. Отчаянные возгласы, шарканье по комнате, потом устремленье к матери и старшей сестре.

— Мама! Надежда! Да что же это такое! Наверно, вы опять вздумали бессмысленно шутить надо мной, пропал мой башмачок!

Мать молча только отмахивается руками, сестра из своей комнаты кричит: «Глупости, глупости, и не думала брать — довольна с меня разу, неинтересно. Ищи хорошенько!»

Брат опять бросается в свою комнату, но через несколько минут возвращается, держа в приподнятой правой руке бережно, двумя пальцами, розовый башмачок! На лице и радость, и смущение, и виноватость. Две капли воды видала я такое выражение на лицах младшей сестры и моих дочерей, когда они были совсем-совсем маленькими.

— Ну что я говорила! — заявляет не без некоторой обиды в голосе сестра. — Запрячет куда-то свое сокровище, а потом еще кричит.

— Не знаю, каким образом вдруг очутился на диване, — недоумевает брат.

— Ну что ж ты так держишь? Чего доброго, пыль сядет: целуй скорей и прячь на сердце.

— Ддурица! — смущенно и виновато смеясь, как ребенок, избличаемый в чем-нибудь секретном, произносит брат, но, отвернувшись, производит точь-в-точь то, что сказала сестра, и уходит к себе.

Слово «ддурица» и другие, несравненно более сильные ругательные слова брат часто употреблял как ласкательные.

— Володя, сознайся, сколько слов прочел из полученного вчера письма? — спросила как-то та же сестра, когда мы сидели за завтраком, а только что вставший брат пил чай и читал газету.

Он поднял голову, ответил таинственно-серьезно «шесть» и вновь наклонил голову к газете. Только сведущий человек заметил бы, что он при этом несколько раз осторожно коснулся рукой груди, где был боковой карманчик. В карманчике — письмо: от той, которую исключительно любит. Получив такое письмо при ком-нибудь, брат, не распечатывая, прятал его в карман, и по этому маневру да по выражению просиявшего лица присутствующие догадывались, от кого письмо. Оставшись один, брат его распечатывал и, смотря по длине и некоторым другим соображениям — как, например, когда он рассчитывал получить следующее от той же особы или когда оно требовало ответа, —

читал за один раз по строчке, по фразе, иногда даже по слову и опять прятал письмо.

— Не понимаю, как это ты так можешь, — сказала раз сестра.

Брат взглянул на нее с глубоким удивлением.

— Чего ж тут непонятного! Если б я прочел все сразу, впереди не было бы никакого утешения, а так я длю блаженство. Ну, а с другой стороны, это учит и самообладанию.

— А отчасти немного есть тут и дури, уж признайся, — посмеиваясь, заметила Анна Кузьминична.

Брат рассмеялся.

— Может быть, ваша проницательность и тут видит верно, может быть. Во всяком случае, эта дурь мне настолько приращена, а для других безобидна, что я имею намерение остаться ей верным.

Когда брат защитил диссертацию на доктора «Критика отвлеченных начал» и, получив экземпляры на веленовой бумаге, стал развозить ее друзьям и знакомым, он придумал три надписи: 1) «В знак почтения, а также для прочтения»; 2) «Пожалуй, для прочтения, но больше в знак почтения»; 3) «Отнюдь не для прочтения, а только в знак почтения».

А когда мать заметила, что «как бы кто не обиделся на последнюю», брат смеясь отвечал: «Мама, я не имею ни малейшей претензии, чтобы все понимали мою книгу, о которой слышал, что некоторые говорят, будто она написана умышленно неудобопонимаемым языком. Моя первая обязанность — избавить хороших знакомых, тем более друзей, от столь неприятной и непроизводительной траты времени, как чтение подобной вещи. Между тем как же мне показать свое почтение и что мне ни капли не жалко подарить книгу? Войдите же, наконец, в мое положение!»

Необыкновенно ярко стоит передо мной образ брата (как будто это было вчера) в самые последние дни жизни нашего отца, во время его смерти и в последующие за ней дни. Доктор накануне сказал, что отец не переживет ночи, но ошибся — отец жил еще весь следующий день; мы все безотлучно находились при нем в его комнате. В столовой в назначенные часы подавался завтрак, и чай, и обед, блюда стояли, стыли и нетронутые опять уносились в кухню. Но вот около семи часов вечера нам всем показалось, как будто отцу стало несколько лучше, и Анна Кузьминична уговорила нас пойти в столовую постараться хоть что-нибудь съесть; с отцом остались мать и страшная замужняя сестра, перед тем уходившая к себе и вновь пришедшая с мужем. Есть мы не могли, но стали пить чай, и брат попросил как можно креп-

че. Пили в полном молчании, вдруг брат сказал: «А что, если наука ошибается и папа останется жив!»

Но в эту минуту вбежал лакей, говоря, что мать зовет всех. Когда мы вновь окружили диван, на котором лежал отец, началась тихая агония, длившаяся всего несколько минут, и когда не стало слышно дыхания отца, ударили в нашем приходе ко всеобщей, так как это было накануне праздника четырех святителей, а по небу пролетел огромный, редко яркий метеор. После всеобщей была у нас панихида; позже, когда уж все разошлись и наступила ночь, брат сказал, что до утра не надо чтеца — он сам будет читать над отцом. Младший брат и я вызвались чередоваться с ним и не пошли к себе, а остались в зале и притворили дверь в гостиную, чтобы чтение не было слышно в жилых комнатах.

— Было бы самое лучшее, если б мама и другие могли хоть сколько-нибудь уснуть, — сказал брат и пошел к столу, на котором лежал отец, и стал читать. После него читал младший брат, потом я, потом опять Владимир. Когда он начал читать, только на первых словах голос его чуть срывался, потом совершенно окреп, и читал он так проникновенно и хорошо, что становилось светлей и легче и не так мучительно жаль тех, кто в это время так плакал у себя в постелях. Срок нашего чтения брат все сокращал, своего удлинял, а под утро положил мне руку на плечо и очень грустно, но в то же время очень решительно сказал:

— Поди ляг.

— А Миша?

— И Мишу скоро отправлю.

— Как же ты один?

— Мне ничего, я не устал.

Утром при первой возможности я встала и пошла в залу — там уже читал дьячок из нашего прихода. Я спросила лакея о брате.

— Владимир Сергеевич сию минуту только к себе вниз пошли (в той квартире брат жил вроде как бы в подвальном помещении, где у него было полторы комнаты), а Михаила Сергеевича все ж таки пораньше уговорили лечь отдохнуть. Да Владимир Сергеевич и сейчас не легли: просили им холодной воды дать, голову мочили, теперь сели, не то читают, не то пишут что-то.

Повернув опять в детскую, я в коридоре столкнулась с горничной Дарьей.

— А Владимир-то Сергеевич, ангел небесный, как в одну ночь с лица изменились! Даже жалости подобно.

К утренней панихиде приехала одна наша знакомая, сначала сидела у матери, потом вышла зачем-то в переднюю и, тихо пла-

ча, говорила Анне Кузьминичне: «А Володя-то, голубчик, золотое его сердце, как он изменился! Я просто ахнула, когда увидела. До того он любил отца! А еще иные считают его холодным и эгоистичным!.. Никогда в жизни не видела эдакой перемены в такой короткий срок! Точно годы и годы мучений перенес... А взгляд, несмотря на это, до того светлый и добрый, что просто всю душу мне перевернул».

Прошло много дней после смерти отца, прежде чем я увидела на лице брата улыбку. Плакать он совсем не плакал, только время от времени как-то особенно вздыхал и отдувался, точно ему не хватало воздуха.

Я совсем не помню, чтобы брат болел; иногда говорил, что голова болит, лихорадит и он воспользуется этим случаем, чтобы никуда не выходить. Голова у него, случалось, болела и от бессонниц, которыми он часто страдал; но острой серьезной болезнью он на моей памяти заболел только раз. Это случилось весной, если не ошибаюсь, в апреле, незадолго перед тем, как Москва начала готовиться к коронации Александра III. Время тогда было «волнистое», как выражался один знакомый, а для брата и в личном отношении: он всю зиму перед тем ждал и надеялся, что та, которую он называл своей невестой<sup>10</sup>, решится на последний шаг, чтобы стать его женой. В общем, он ждал этого решения десять лет, но тогда, в ту весну, положение особенно обострилось. Помню, с каким таинственным и сияющим лицом брат иногда за обедом говорил: «Пью за здоровье моей невесты!» Потом, обратясь к матери: «Мама, она скоро к вам придет, желает с вами познакомиться, а также и с вами», — он кивал головой всем нам. Последние дни перед тем, как заболеть, ждал писем, выходил из своей комнаты на каждый звонок, был то страшно мрачен, то безумно радостен. И вдруг заболел, и сразу плохо: не то тиф, не то нервная горячка. Вероятно, тут была и простуда, и надрыв нервов. Жар страшный и не спадает, но в полной памяти. По совету младшего зятя нашего, медика, обтирают брата постоянно уксусом, он покорно подчиняется всему этому домашнему лечению, глотает все, что дают, вплоть до гомеопатии, в которую верит Анна Кузьминична и которую случалось ему и раньше принимать от бессонниц и других мелких бед, но не хочет, чтобы послали за «лучшим» доктором или тем более консилиум. Но все же приехал наш всегдашний доктор, лечивший нас, еще когда мы были младенцами, и, как знакомый, профессор Чириков. И им не совсем ясно, но завтра — день кризиса, решится. Брат лежал в своей комнате на диване, и дверь

в соседнюю залу была отворена. Думали, что брат спит, и вышли от него, а я села у окна в зале у самой двери — в случае проснется и позовет. Вдруг слышу — брат явственно окликнул:

— Кто тут?

— Я.

— Поди ко мне — на столе Евангелие, найди брак в «Кане Галилейской» и прочти мне вслух.

Я нашла и стала читать, с трудом сдерживая дрожь всего тела — мне вспомнилась первая ночь, когда умер отец, — и прочла все от первого до последнего слова не садясь, а как стояла у стола, так и осталась стоять. А покуда читала, брат все время не переставая крестился крупным, истовым крестом, нажимая пальцы на лоб, грудь и плечи. Я кончила читать, а он все продолжал так креститься, и в этом движении яснее всяких слов чувствовалась мне вся страстность желания брата жить и в то же время вся полнота его покорности воле Бога. Наконец брат перестал креститься.

— Подойди ко мне.

Я подошла.

— Не знаешь, телеграмму мою отправили (к ней, к «невесте»)?

— Отправили, отправили.

— Ну, хорошо... А теперь, пожалуй, скажи, что могут меня обтирать, если хотят, или что там еще полагается.

Я пошла, но в дверях обернулась на брата и увидала, что он опять крестится, как раньше, и явственно услышала страстный горячий шепот: «Господи, спаси! Господи! Помоги!»

К вечеру брату стало лучше, и со следующего дня пошло выздоровление. То лето мы решили провести на Кавказских водах, уговаривали и брата сделать то же или, по крайней мере, приехать хоть на шесть недель, но он отвечал: «Нет уж, и не ждите. Если б вы были на даче поблизости, я бы приехал, а там что я буду делать? Кроме того, туда ездят с дурной болезнью, упаси меня Боже, чтоб я когда-нибудь приблизился к таким местам». И решению этому остался верен, хотя мы все после того в продолжение многих лет продолжали на лето уезжать на Кавказские воды.

Когда я выходила замуж, брат был строго-нежен со мной, с радостной улыбкой передал мне поздравления от своей невесты, говоря, что она сама бы приехала, да нездорова, лежит; был очень доволен, когда она прислала мне огромный картон с порезанными на длинных стеблях белыми лилиями, и, видя, как я этим восхищена и тронута, поглядывал так, как будто хотел сказать: «От нее я другого и не ждал». А накануне моей свадьбы он, обняв меня, повел к себе в комнату «на пару слов».

— Завтра во время венчания, — сказал он с чудесно-светлым, проникновенным лицом, — обрати внимание на то, что будут петь о венцах мученических, и помни всегда, что, выходя замуж или женясь, человек непременно должен быть готов надеть венцы, ибо, делая подобный шаг, вступает на путь величайшего счастья, но также и величайшего страдания. Если ты это понимаешь и ты чувствуешь, брак твой будет прекрасен, что бы ни случилось и каким бы ни казался посторонним или даже близким людям, часто вольно или невольно судящим только по видимости. Затем ты знаешь, что я вполне одобряю твой вкус, ступай, и да не смущается сердце твое. — И он стал ласково и тихонько выталкивать меня за дверь; почувяв же, что я близка к тому, чтоб расчувствоваться, прибавил, уже смеясь и делая дурашливое лицо:

— А в случае появятся непрошенные судьи со своими бессмысленными мнениями и советами, ты на это наплюй, надо вообще уметь иногда при случае хорошенько начхать.

Такое светлое и проникновенно-растроганное лицо, как было у брата, когда он позвал меня «на пару слов», увидела я еще у него, когда он крестил у меня младшую дочь. Я сидела у себя в комнате, он пришел ко мне туда, когда Таинство кончилось.

— Я хотел тебе сказать — совершенно превосходный младенец! Понимешь — держу не без некоторого ужаса, боюсь сильно дохнуть, чтоб не разбудить. Она спит... Но вдруг открывает глаза, я так и обмер: сейчас крик или нечто и того хуже, но она долго и внимательно на меня посмотрела и вдруг улыбнулась совершенно осмысленной улыбкой и продолжала смотреть... великолепные глаза! И потом все время ни крику и ни малейшего скандала. Нет, превосходный младенец, превосходный младенец! — несколько раз повторил он.

Возвращаясь памятью к давно минувшему, вспоминается мне также то особое чувство к евреям, которое я испытывала, главным образом благодаря исключительному отношению к ним брата. Конечно, отчасти оно было у меня и помимо брата, думается, просто прирожденным, как у некоторых других членов нашей семьи, но когда еще в детстве я думала: сколько же хорошего должно быть у евреев, если Володя их так любит, — это уже, несомненно, было влияние, обаяние брата. И когда меня тоже в детстве за исключительную страсть к музыке и некоторые другие физические и нравственные черты называли жидовкой, я скорее бывала польщена; а когда раз кто-то из старших, рассердившись на меня (на этот раз совершенно неосновательно), крикнул: «Вот уж верно — настоящая жидовка», — я не ска-

зала ни слова в свое оправдание, только подумала: вот и отлично — евреев всегда гнали и гонят несправедливо, не понимая за что, так и меня. И пусть! А вот такой, как Володя, евреев любит и понимает.

С течением времени вместе с любовью к евреям росло мое негодование и отвращение за отношение к ним так называемых и так называющих себя христиан, и при этом я всегда представляла себе брата и Христа и отношение брата к Христу. По поводу этого вспоминается мне одна сцена, когда я была и не совсем взрослой, и не совсем ребенком. Точно вспомнить, когда это случилось, я совершенно не могу. Была Пасхальная ночь, и мы все, как всегда, отправились в церковь; брат вообще в церковь, за редким исключением, почти никогда не ходил, но Пасхальную ночь редко и дома оставался; когда бывал в Москве, обыкновенно отправлялся в Кремль. Я знала, что, прежде чем стать «таким верующим», брат перешел через большие сомнения, даже: «Знаешь, Володя был одно время атеист», — с большим интересом но не без примеси таинственного ужаса сообщали мы, младшая компания, как-то друг другу в детстве. И вот мне в эту Пасхальную ночь представилось, что, может быть, у брата сомнения не потому, что он объявил, что никуда не отправится, а потому, каким мрачным тоном он это сказал и какой сам весь этот день был мрачный. «Когда *так* веруешь в Христа, нельзя быть таким мрачным в Великую субботу, — думала я, — значит, у него опять сомнения». И делалось очень тяжело за брата. Вернувшись от утрени, я, громко напевая только что слышанные напевы и вся в совершенно особом, пасхально-восхищенном настроении, забыв все на свете, бросилась как сумасшедшая через все комнаты в заднюю часть дома, чтоб похристосоваться с прислугой, оттуда опять в переднюю: забыла яйца и кошелек в карманах пальто. Иду и пою громко, безудержно; хлопнула дверь из комнаты брата, идет... Оборачиваюсь к нему, протягиваю руку.

— Христос!.. — И вдруг вспомнила, осеклась.

Брат взял мою руку.

— Ты хотела сказать: «Христос воскрес» — и почему-то осталась... Ну, я отвечаю тебе: «Воистину воскрес»! — и, нагнувшись, поцеловал меня трижды.

А когда все собрались в столовой разговляться, брат тоже пришел и не был больше мрачен, напротив, совсем светел, только очень тих.

Через два года после рождения моей третьей дочери мы вынуждены были уехать из Москвы, и пришлось мне не один год провести в юго-западном крае. Тут, наблюдая жизнь бедных евреев и познакомившись с некоторыми из них, я постоянно представля-

ла себе брата и укреплялась в своих чувствах к евреям и христианам, поскольку касалось отношения последних к первым, и радовалась, что в своем небольшом опыте ни разу не пришлось мне разочароваться, хотя, если б это случилось, отдельные люди и факты в моей личной практике никогда бы не смогли изменить моего чувства и отношения к избранному народу Божьему.

За время жизни в юго-западном крае мне удалось два раза съездить в Москву и Петербург, и я очень мало, на самое короткое время, видела брата. Показался он мне очень постаревшим и утомленным вообще, хотя в настроении был очень хорошо, по-прежнему острил и смеялся. Спросил, что мои остальные младенцы, и, щурясь и улыбаясь на мою старшую девочку, которая была со мной, прибавил:

— А помнишь, как она в младенчестве пленяла меня своей жизнерадостностью?

И я невольно рассмеялась, вспомнив, как, бывало, издает моя крохотная девочка радостный восхитительный вопль, и брат тотчас же, хотя бы был в другой комнате и вел самый возвышенно-отвлеченный разговор, испустит такой же, только более громкий, и потом, смеясь и расширяя в радостном изумлении глаза, скажет: «Какие она великолепные звуки издает!»

Еще весной 99-го года решила я следующей зимой непременно поехать в Петербург и основательней повидать брата: чувствовала большую нужду говорить с ним; а в июле совершенно неожиданно получаю телеграмму от младшей сестры, что брат опасно заболел. Мне нельзя было выехать: не с кем было оставить маленьких детей, и так я и не простилась с братом и на похоронах его не была. Читая потом и слушая рассказы очевидцев о последних днях жизни брата, я была, между прочим, прямо потрясена и восхищена, узнав, что он, умирая в сознании, молился за еврейский народ. А через год после его смерти увидела я мать. Заговорила она о нем и заплакала, но сейчас же поспешно и усиленно стала вытирать слезы.

— Ну, не буду, не буду, не надо плакать, — покорно и тихо несколько раз повторила она, точно уговаривая сама себя, потом так же тихо, сквозь слезы, но с умиленным лицом обратилась ко мне:

— А ты знаешь, зимой приезжал ко мне... ко мне специально, развлекать меня, в карты со мной играл... Какой же ему мог быть интерес!.. Да ведь и минуточки у него никогда свободной для себя не было, знаешь ведь, как он жил, а тут сядет со мной и играет... в дурачки.

